

Абсолютно свободный человек (воспоминания Евгения Бунимовича ¹)

Мы познакомились с Анатолием Аркадьевичем не так уж давно. Жаль, могли бы и раньше. Немало было в жизни мест и обстоятельств, в которых мы могли и даже должны были пересечься. Но — разминулись.

Это было десять лет назад. Свежеизбранный депутат Московской думы, я пришел на заседание «круглого стола» московских директоров школ. С половиной я был так или иначе знаком — все-таки всю жизнь провел в школе. Слышал, разумеется, и про Пинского, но никогда с ним не общался. И надо сказать, что даже в этой среде директоров известнейших московских школ, лицеев, гимназий, где каждый был штучным, ярким, даже на этом фоне он выделялся. Всякий директор хорошей школы, который смог что-то реальное сделать в этой жизни, смотрит на весь остальной мир немножко как на недоразумение. И не особенно стремится весь этот мир преобразовать. Лишь бы ему не мешали делать то дело, которое он, директор, знает и умеет.

С Анатолием Аркадьевичем дело обстояло иначе. Было ясно, что ему этого мало. Ему нужно было, чтобы не только у него все было складно и разумно, ему было позарез необходимо, чтобы те вещи, которые самому ему казались простыми и естественными, поняли наконец и другие.

Впрочем, в образовании немало и таких мечтателей, которые сами вроде бы что-то там нашли и очень хотят, чтобы этим воспользовались другие. Проблема таких мечтателей в том, что, кроме красивых слов, они ничего предложить не могут. Пинский был другим. В нем было совершенно невероятное, даже парадоксальное сочетание смелых и вроде бы заоблачных идей — и абсолютно земного, здравого умения их реализовывать. Вроде бы, если трезво глянуть на то, что происходит вокруг, ясным становится, что никакие замечательные, чистые проекты, в центре которых — ребенок, его

¹ Евгений Абрамович Бунимович — депутат Московской городской думы, возглавляет комиссию по образованию и культуре. - *Прим. ред.*

интересы и мечты, на нашей грешной земле реализованы быть не могут. Меня поразила глубокая убежденность А.А. в том, что эти планы могут быть реализованы, а главное — его равно свободное владение абсолютным языком этих идей и в то же время реальным, вполне материальным языком, который необходим, чтобы все это воплотить.

Для меня самого вопрос языка тогда стоял серьезно. Я пришел в другой мир, мир чиновный, и для меня было важно сохранить свой мир, свой язык. Я понимал, что, даже если начать говорить на этом канцелярите, все равно будет отчетлив акцент. И вот я увидел человека, который говорил на своем языке, и, тем не менее, было совершенно очевидно, что с ним трудно будет не согласиться даже самым заскорузлым чиновникам, потому что все было очень внятно, с абсолютной уверенностью в том, что это выполнимо, и, самое главное, с убедительными основаниями для того, чтобы это выполнялось. Вера в то, что можно все устроить разумно и естественно, отличала А.А. от других традиционных московских интеллигентов, которые знают, что вокруг все ужасно, что ничего сделать нельзя, и потому не отказывают себе в праве даже не пытаться что-то сделать. Его убежденность, что все можно обустроить нормально, по-человечески, сочеталась с тем, что для этого он предлагал простые и ясные пути.

Когда через некоторое время мне предложили возглавить комиссию по образованию, которую создала партия «Яблоко», и я понял, что обречен ее возглавить, я поставил только одно условие: работать не с партийными функционерами, а с профессионалами, которые понимают, как надо преобразовывать наше образование, что нужно делать со школой. И первый, кого я пригласил, был Пинский. Надо сказать, что мы плохо понимали мир политический, но зато хорошо понимали, что такое образование и чего мы хотим добиться. Это была гремучая смесь политической наивности с человеческой ответственностью. Раз нужно было написать программу образования, мы сели ее писать. Позже, когда я решил поинтересоваться, что делают остальные партии, другие комиссии, где их программы, выяснилось

то, о чем мы уже начали догадываться. Никаких реальных программ, в том числе и образовательных, либо вообще не существовало, либо они были на полстраницы и написаны в стилистике «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, поэтому голосуйте за нас». На этом безрадостном фоне мы и писали свою образовательную программу, при этом обратившись за помощью к лучшим специалистам. Я помню, с каким удовольствием, с каким упоением мы все это делали, — и это было самое главное.

При этом мы с А.А. обнаружили одно существенное расхождение в методах работы со взрослыми, с теми, кто мешал проводить какие-то осмысленные идеи. А.А. всегда ужасно удивлялся их непробиваемости: он считал, что как любого ребенка можно научить, развить — так и взрослым можно доказать, объяснить. Я тоже был уверен, что детям многое можно объяснить и многому научить, а вот люди взрослые с их грузом предубеждений и предрассудков бесперспективны, и работать с ними практически бесполезно. А он считал, что можно все всем объяснить, достучаться, надо только внятно все изложить. И излагал, объяснял, пытался достучаться...

Это было романтическое время, когда казалось, что многое можно сделать, многое будет сделано, и что-то, кстати говоря, сделать удалось. Потом, когда появился новый министр образования В.М. Филиппов и захотел привлечь специалистов для осуществления преобразований в области образования, он пригласил фактически всех членов моей комиссии, начиная, конечно, с Пинского. Из чего следовало, что мы с А.А., наверное, действительно выбрали самых интересных, самых профессиональных людей, и это хорошо. Но следовало и то, что других нет, и это плохо.

Это было вообще замечательное время: нас было немного, но мы были вместе, и нам казалось, что что-то разумное, человеческое действительно

может быть реализовано. Вот еще один характерный забавный штрих. Позже, когда Кремль заказал знаменитую программу больших преобразований, ее должен был делать Центр господина Грефа — большими силами, за большие сроки и большие деньги там делались программы по всем областям, в том числе и по образованию. Когда через год они сделали и предъявили в первом приближении известный документ, в нем была одна удивительная сноска. Эта единственная сноска была в разделе «Образование» и звучала примерно так: «При подготовке документов были использованы материалы комиссии по образованию партии “Яблоко”». «Яблоко», как известно, партия оппозиционная. Тем не менее эта очень большая и очень государственная структура была вынуждена на первом этапе (потом сноску, разумеется, убрали) признать, что многое из того, что предлагалось, уже было разработано до них — очень маленькой и очень неформальной группой единомышленников. Мы тогда действительно смогли нащупать много интересного, важного, необходимого. К сожалению, далеко не все это реализовано, а то, что реализовано, нередко было искажено до неузнаваемости.

По правде сказать, какой я политик, а уж А.А. — тем более, но история дала нам тогда почувствовать, как делается политика, как на нее можно влиять в самом прямом и непосредственном смысле этого слова. В Госдуме происходила смена руководства комитетов, обычные политические игры. У «Яблока» появилась возможность возглавить один из комитетов, и мы встретились втроем — с А.А. и Явлинским. Сидели в ресторане, ели, пили, и А.А. уверенно объяснял Григорию Алексеевичу, что если уж брать не почту и телеграф, а комитет в Госдуме, то нужно брать именно комитет по образованию. Была и кандидатура, мы договорились с «яблочным» депутатом ГД А.В. Шишловым, который, правда, не занимался до того образованием, но казался (и оказался) человеком толковым, серьезным и к тому же выпускником физматшколы, что вселяло некоторые надежды. Мы обещали помощь — все что возможно. Убежденность Пинского была

заразительна. К полуночи Явлинский сдался, а наутро в радио- и теленовостях объявили, что «Яблоко» получило комитет по образованию и возглавил его Шишлов.

Мы созвонились с А.А. и обсудили, что вот так, в ресторане, под телячьи котлеты, наверное, и делаются все перевороты. Начиная с театрального переворота, осуществленного Станиславским и Немировичем, как известно, в «Славянском базаре», заканчивая переворотами и путчами государственными. «А что же тогда они все делают в своих банях и саунах?» — спросил я озадаченно. «Может, все-таки моются?» — предположил А.А., который, как я уже отметил, никогда не уставал надеяться на лучшее.

За десятилетие моего пребывания где-то около власти это был единственный эпизод с таким быстрым и внятным публичным результатом. Всем было ясно, что это дело рук Явлинского, многим было ясно, что и я в этом участвовал, и мало кому было известно, что автором и мотором всего был Пинский. Именно его абсолютная убежденность плюс квалификация давали уверенность в том, что все можно сделать. И сам он никогда не бросит, не кинет, и не в том денежном смысле, как это теперь у нас принято, об этом вообще не могло быть речи, а в самом настоящем. Своим профессионализмом, своей работоспособностью и умением включиться полностью в дело он, собственно говоря, и гарантировал во многом успех. Через год Александр Шишлов был назван Человеком года в образовании.

Я упомянул о тоне, об интонации в разговоре с властью. После моего первого выступления на правительстве Москвы один депутат удивленно спросил, как это у меня не дрогнул голос, будто я там выступаю всю жизнь, да еще говорю своими обычными словами. Я отшутился, объяснил, что я учитель, стало быть, мои коллеги — Моисей, Магомет, Христос, Будда, где уж тут робеть перед мэрами и премьерами. А.А. это было свойственно в куда большей степени. Его интонация — а за этим стоит очень многое — была всегда абсолютно одинаковой. Совершенно не важно, разговаривал он с

первоклашками в школе или с начальством, — всегда звучала абсолютно одинаковая, уникальная, только его интонация. Был ли это еврейский ресторанчик или заседание департамента образования, урок в пятом классе или крупное международное совещание — это всегда была спокойная, естественная и при этом очень домашняя интонация. И становилось ясно, что все связанное с его делом, с образованием, со школой — это не работа. Это его дом, часть его жизни. Это и была его жизнь.

Иногда это казалось слабостью. Я помню коллегия министерства, на которой он был основным докладчиком по очень жестким вопросам. Несколько членов коллегии, для которых образование — это ремесло, карьера, диссертации и уж никак не сущность и смысл жизни, слушая предложения А.А., почувствовали то единственное, что, собственно, они и способны чувствовать, — угрозу того, что от них уплывает часть бюджетного пирога, что они могут потерять часть силы, власти, раз появляются какие-то другие, да к тому же малопонятные им силовые поля. Они стали задавать вопросы, по сути совершенно абсурдные, но по форме складные. Это были люди поднаторевшие, которые многих пересидели, и простодушие интонации А.А. меня тревожило. Казалось, он не сможет с ними справиться, он шел с открытым забралом, а надо было изощренно защищаться и одновременно нападать. И невозможно было ему толком помочь, он был разработчик, докладчик, он и должен был отвечать. И было совершенно невероятно, как он все на том же своем языке, совершенно не похожем на язык, которым пользуются на министерских коллегиях, каким задавались вопросы, абсолютно определенно и просто всем все объяснял. И настоял-таки на своем. Его апелляция к здравому смыслу, к детям, к тому, для чего все делается (а это он понимал очень ясно) каким-то удивительным образом обезоруживала самых изощренных противников, собаку съевших на такого рода обсуждениях. Причем это не был вопрос искусства полемики. Он создавал ощущение «ну о чем еще речь, ведь и так же все понятно». И это передавалась другим.

Интонация была одинаковой в любых обстоятельствах. Иногда я был в позиции начальника, как в той же комиссии «Яблока», а иногда наоборот. Так было, например, когда я работал над новыми экспериментальными заданиями для экзамена по математике 9-го класса. Я занимался этой частью общей работы, ибо математика — моя профессия, и только через некоторое время узнал, что во главе всего проекта стоит А.А. Мои коллеги удивились, когда совещание участников проекта было назначено в его школе. Ведь начальники обычно всеми силами стараются «повысить градус», чтобы все понимали, куда, к кому они пришли. А здесь все было иначе.

И опять я услышал ту же интонацию, увидел ту же цельность и естественность. Что могло его заставить быть другим? Наверное, ничего. Это и есть незаемная, внутренняя свобода. «Просто абсолютно свободный человек», — уже потом, на прощании с А.А., сказал о нем Явлинский.

Откуда эта свобода? Можно, как у Чехова, по капле выдавливать из себя раба. Но это все-таки видимое усилие, упорная работа. Надо все время напрягаться, выдавливать чего-то... Я встретил А.А. человеком зрелым, вполне сформировавшимся, не знаю, что было до того, но никакого усилия по самоосвобождению не видел в нем никогда. Думаю, что это все-таки было даровано ему свыше. Такая естественность и цельность казалась беззащитной, но на самом деле была абсолютно несокрушимой. И поскольку было ясно, что сдвинуть это никуда нельзя, лучше было с этим смириться.

Не хотелось бы, чтобы от всего сказанного осталось ощущение идиллии. Мы очень много спорили, в каких-то вещах расходились, совсем не всегда сходились во мнениях. Вот конфликтов не помню, трудно представить себе конфликт с А.А., но, конечно, были разные взгляды, разные позиции. Да и было бы странно людям, пытающимся о чем-то задуматься, иметь по всем вопросам схожие суждения. Помню довольно жесткую нашу полемику, причем публичную, на слушаниях в редакции «Известий». Пинский высказывал какие-то новые идеи, часть из них меня устраивала, часть — нет, но в принципе все это можно было обсуждать, корректировать. Но меня

задело не содержание, а форма. А.А. все время ссылался на президента, повторил «как сказал президент» раз пять, если не десять. Притом что, будучи настоящим профи, А.А. разбирался в вопросах образования лучше любого президента. Мне эти ссылки казались особенно нелепыми, ибо мы вместе и порознь не раз участвовали в разработке всяческих аналитических документов, с которыми потом выступали и мэр, и министр, и президент, так что не исключено, что то, на что он ссылался, он сам и написал, а уже потом это в какой-то степени было учтено в послании президента. Я недоволюсь перебил его: «Уважаемый Анатолий Аркадьевич, вы столько лет в образовании. Что же, пока все это не произнес президент, вы были не в курсе того, о чем говорите?» Конечно, это было обращение не столько к А.А., сколько к аудитории, которая ехидно загудела.

Надо сказать, что, в отличие от ситуации с коллегией, А.А. мне достойного отпора не дал. Он посмотрел на меня немного растерянно, и во взгляде его читалось: «Ну понятно же, что я ссылаюсь на президента не потому, что не знал этого сам. Просто у нас теперь есть хотя бы некоторая поддержка с самого верха. Нам будет легче проводить разумные идеи. Ради этого можно и сослаться лишней раз».

Все-таки это была если не публичная ссора, то намеренное обидное для А.А. высказывание. И поэтому, когда мы встретились через несколько дней, у меня, конечно, не было никаких претензий (я уже говорил, что с Пинским невозможно было находиться в состоянии ссоры), но все-таки какое-то послевкусие было. А он, мне кажется, даже не вспомнил. Забыл или не хотел помнить. Было ясно, что происшедшее вообще никакого отношения ни к чему не имеет. С другими уважаемыми коллегами не так. Бывает и напряжение, и ссоры, и амбиции. Мы просто сели и продолжили вместе что-то делать. Как всегда, срочное.

Не случайно на юбилее А.А., рассказав этот эпизод, я напомнил, как в советское время в московской синагоге висели две молитвы. Одна за мир, другая — за советское правительство. И в том, как он ссылался на

президента, было не желание «задрать штаны, бежать за комсомолом», а вот эта вековая горькая национальная мудрость.

Анатолий Аркадьевич был одним из самых ярких и удивительных людей российского образования, А может, и самым удивительным. Удивительным — во всем. Вот мы с женой и друзьями, сбежав с официозного концерта и банкета, приехали во всей Москве известный своей дешевизной и простодушием грузинский ресторанчик «Мама Зоя». Взяли еще не запрещенного тогда грузинского вина, боржоми. На сцене появилось забавное трио со скрипочкой и гармошкой, затянули хрестоматийное «Тбилисо», спустились в зал, направились к нашему столику.

И что я вижу? Один из этой колоритной тройцы, слаще всех выводящий это самое «Тбилисо», — не кто иной, как почтенный директор знаменитой московской школы, автор многих ученых трудов, советник самого господина министра образования Анатолий Аркадьевич Пинский. Собственной персоной!

Любой другой в такой ситуации, пожалуй, мог бы выглядеть неловко, нелепо, но только не А.А. Он счастливо улыбался, мы улыбались в ответ, даже пытались подпевать, он представил своих друзей-музыкантов и потом еще спел, перейдя на идиш, колыбельную, ту самую, которую мне когда-то пела бабушка.

Поэтому, когда А.А. появился у меня с проектом фестиваля песен на идиш, я не удивился. Кроме встречи в «Маме Зое» был уже и «Тевье-молочник» в его школе. Но идея клейзмерского фестиваля в Москве все равно казалась провальной. Песни далекого детства, мир бабушек и прабабушек, это будет что-то мемориально-почтительное. Кому это нужно? Грустно, что идиш-культура уходит и ее не хранит не только Россия, но и Израиль — страна с другим языком, с другим образом мыслей. От щемящей

интонации культуры идиш в Израиле не то что избавляются, но хотят представить миру другой образ еврейской культуры.

Мне было ясно, что я не могу не помочь этому проекту, но абсолютно не верю в успех предприятия. Тоскливо было даже представить себе, как А.А. с его энтузиазмом, уверенный в том, что все будет замечательно, будет стоять посреди никому не нужного концерта и стараться что-то спасти. И было заранее его жаль.

Проект оказался успешным. Хотя слово «успех» не совсем точное, успех может быть у чего ни попадя, у любой поп-звезды. Куда важнее живая жизнь, которая теперь уже несомненна во всей этой затее, оказавшейся востребованной, несмотря на все мои логические доводы. На концертах я увидел и каких-то удивительных людей из местечек, живых носителей идиш-культуры. Мне казалось, что уже не только этих людей нет, но и местечек таких нет, все это было невероятно и пронзительно. И одновременно я увидел настоящих европейских и американских профессионалов, для которых это тоже дело жизни. И тут же были модные фигуры мира московских клубов, причем не попсовые — Псой Короленко, Иван Жук. А сердцем, мотором и вообще всем был, конечно, Анатолий Аркадьевич.

В школе у меня был по пению трояк, да и то потому, что неудов по пению не ставили. Я не очень хорошо понимаю, как именно пел Пинский. Да я и не в консерваторию пришел. Это было живо, ярко, трогательно, заразительно. Я не знаю, каким будет дальнейший путь фестиваля, потому что это — его детище, и сколько бы людей ни числилось среди организаторов, ясно, что Дона-фест, Идиш-фест — это Пинский. Наверное, фестиваль изменится. Но он вдохнул жизнь в большее — в саму идиш-культуру, которая казалась в Москве полностью утраченной...

Много, конечно, о чем еще можно вспомнить и рассказать. Но памяти не приказывают. Я помню Анатолия Аркадьевича Пинского прежде всего именно таким — счастливым, домашним, напевающим бабушкину колыбельную.